

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ФАКТОВ И СОЗДАТЕЛИ ТЕОРИЙ

© 2008 г. В. М. Алпатов

Для любых наук, познающих мир, важны две задачи: сбор фактического материала и обобщения, построение теорий. В истории науки мы видим постоянную смену приоритетов: чередуются периоды интенсивной работы теоретической мысли и следования устоявшимся канонам, открытия новых фактов и стремления переосмыслить то, что уже известно. В одни периоды легче работать тому, кто склонен к подготовке фактического материала, а в другие эпохи ценятся любители обобщать. В статье на материале лингвистики и востоковедения, в основном в России, рассматривается место и роль ученых того или иного склада в науке XIX–XX вв.

Two problems – collection of facts and general conclusions, construction of theories – are essential for any sciences studying the world. Some scholars are inclined to solve the first problem, while the others are disposed to take up the second one. In the history of science we see a constant change of priorities. Periods of intense theoretical thought, aspiration for a new understanding of the well-known information take turns with those of following established canons and accumulation of new facts. In this article the place and role of scholars of both types in the field of linguistics and oriental studies of the 19th and 20th centuries is considered.

Задачи любой науки, непосредственно познающей мир (философию и математику оставим в стороне), можно на самом общем уровне разделить на два класса. Это, во-первых, получение и первичное исследование нового фактического материала, во-вторых, обобщения, построение объяснительных теорий. А наука делается людьми, и кому-то может быть ближе одна задача, а кому-то другая.

Тот факт, что одни ученые преуспели (или не преуспели) в обнаружении фактов, а другие – в обобщениях (кто-то сразу и в том, и в другом), разумеется, может иметь разные причины, и склонности человека – лишь одна из них. Они важны, но не всегда могут реализоваться. Ученый может попасть в научную среду, где ценится совсем не то, к чему он склонен, тогда ему придется либо приспособливаться к приоритетам окружающих, либо идти на конфликты и обрекать себя на одиночество в профессиональной сфере. Наконец, нельзя не учитывать и разный уровень индивидуальных способностей, возможность или невозможность получения должной подготовки и многое другое.

Мы ограничимся здесь филологическими науками, прежде всего, лингвистикой, а также востоковедением (об истории которого мы уже писали [1]); разумеется, востоковедение – не единая наука, а комплекс смежных дисциплин, сейчас значительно разошедшихся. Конечно, мы не имеем в виду, что лингвистика и востоковедение в интересующем нас аспекте отличаются от других наук. В основном мы будем говорить об ученых России, наука которой при всех исторических особенно-

стях своего развития, безусловно, всегда имела и имеет мировую основу.

В самой истории мировой науки, включая русскую, мы видим постоянную смену приоритетов. Едва ли не в каждой дисциплине чередуются периоды интенсивной работы теоретической мысли и следования устоявшимся канонам, открытия новых фактов и стремления переосмыслить то, что уже известно. И в одни периоды (конечно, при прочих равных условиях) легче работать тому, кто склонен к “подготовке фактического материала”, а в другие эпохи ценятся любители обобщать. Как правило, первые выходят на авансцену в спокойные периоды развития уже сложившейся науки, вторые – на самых ранних этапах формирования той или иной дисциплины и в эпохи смены научных парадигм. Играть роль и воздействия извне, и общий “климат эпохи”. Эпоха классической немецкой философии, появления клеточной теории и дарвинизма способствовала теоретизированию во многих науках, а господство позитивизма подняло в цене любителей сбора фактов.

Русское востоковедение вышло за пределы чисто практического изучения восточных языков в первой половине XIX в. Тогда чуть ли не каждым вопросом приходилось заниматься впервые, а владение материалом еще было недостаточным. Зато один и тот же человек мог изучать сразу чуть ли не весь известный к тому времени Восток. Один из первых петербургских профессоров востоковедения О.И. Сенковский (известный также и как журналист и писатель) занимал в университете сразу кафедры арабского и турецкого языка, изучал также китайский, маньчжурский, мон-

гольский и тибетский языки [2, с. 20, 36]. Про профессора И.Н. Березина, принадлежавшего уже к следующему поколению, воспитанный в совершенно иных традициях И.Ю. Крачковский впоследствии писал: «Типичный представитель “героического” периода нашего востоковедения, когда можно было объединять специальные знания по меньшей мере в трех областях – тюркологии, арабистике, иранистике, а частично в монголоведении» [3, с. 90]. Крупнейший востоковед поколения Березина академик В.П. Васильев знал монгольский, татарский, китайский, маньчжурский, тибетский языки и санскрит [4, с. 76].

При такой широте ученые легко переходили к обобщениям, обычно основанным на небольшом количестве отрывочных и часто произвольно трактуемых фактов. О.И. Сенковский, например, исходя из звукового сходства слов *лехи* и *лезгини*, пришел к выводу о том, что польская шляхта – не славяне, а потомки завоевателей – кочевников [2, с. 25]. В.П. Васильев легко сопоставлял китайский язык с индоевропейскими, верил в египетское происхождение китайских иероглифов и считал, что мир делится на разделенные полосой безжизненных пустынь Запад и Восток, которые никогда не поймут друг друга [4, с. 622–624].

Широта и в охвате явлений, и в постановке общих проблем естественно переходила в дилетантство. Сенковский, по замечанию его биографа Вениамина Каверина, “знал так много языков, что, казалось, не знает ни одного” [2, с. 21]. А о Березине и других ученых его поколения впоследствии скажет С.Ф. Ольденбург: “Поражает та легкость, с которой пытаются делать широкие обобщения, не имея в своем распоряжении достаточно фактического материала, который, однако, нетрудно было бы найти” [5, с. 539]. Но поиски фактического материала мало занимали ученых “героического периода”. Впрочем, им иногда приходилось заниматься и такими вещами, как публикация памятников. И востоковеды следующего периода видели главные заслуги, например, И.Н. Березина (наряду с постановкой задач на будущее) именно в этом [4, с. 756].

Большую часть XIX века такие подходы господствовали и в науке о языке. Немецкая наука, связанная с именами Августа и Фридриха Шлегелей, В. фон Гумбольдта, Ф. Боппа, Я. Гримма, А. Шлейхера, выдвигала широкие теории. Достаточно назвать идею стадий развития языка, отражающих стадии развития человеческого мышления. Но и сравнительно-историческое языкознание, гораздо в большей степени опиравшееся на конкретный языковой материал, тогда любило делать обобщения о прогрессе и регрессе языков и связи языка с культурой. Все это распространялось и на русских последователей. Уже в 80-е гг. XIX в. профессор И.П. Минаев, объединявший в

себе востоковеда-индолога и буддолога с лингвистом-теоретиком (позже такое совмещение стало невозможным), развивал на материале многих языков те же стадийальные идеи. Например, из “символического значения” гласных (то есть из выражения ими грамматического значения) в семитских языках И.П. Минаев выводил “символизм”, господствующий в духовной жизни семитов и проявляющийся, в частности, в их монотеизме [6, с. 260–262]. Выдвигал он и идеи о связи строя языка и языкового родства с расой, “антропологическими типами” [6, с. 217].

Но уже в те годы, когда Минаев читал свой курс, приоритеты стали меняться. Установившееся господство позитивизма требовало, с одной стороны, более тщательного изучения фактов, с другой стороны, отказа от всякой “метафизики”, под которой понимались любые теории, которые нельзя проверить фактами. Распространилось «преклонение перед “фактом”, понятием... как что-то незыблемое и устойчивое», по выражению В.Н. Волошинова [7, с. 218].

В лингвистике господствующим направлением стала немецкая школа младограмматиков, которой следовали и в России. Вот как сопоставлял (в 1933 г.) лингвистику первой половины (“науку основоположников”) и конца XIX века (прежде всего, младограмматики) ученый последующей эпохи В.И. Абаев. “Наука основоположников – это наука восходящего класса со всеми свойственными такой науке качествами: смелостью мысли, широтой размаха, высоко развитой способностью обобщения. Напротив, вся последующая лингвистика ... это – наука нисходящего класса со свойственной такой науке неудержимой склонностью к трусливому и бескрылому крохоборству. И когда речь идет о буржуазном наследстве, для нас В. Гумбольдт и Фр. Бопп безусловно выше и ценнее Бругманна или Мейе, так же как в философии Гегель выше Вундта, в литературе Гете выше Метерлинка, в музыке Бетховен выше Штрауса. При всех своих заблуждениях “старик” обладал достаточной широтой и глубиной философской мысли, чтобы воспринять язык как некое *единство*, единство формы и содержания, обладающее специфическими свойствами и закономерностями.... Они были в полном смысле мыслителями, а не цеховыми катедер-грамматиками. Они не боялись ставить “основные” вопросы, когда их приводил к этому ход исследования. Младограмматики же попросту испугались трудностей, и, чтобы избегнуть их, они заявили, что фундаментальные вопросы, над которыми вдумчиво и смело работала мысль основоположников, вовсе не существуют или, во всяком случае, не являются предметом лингвистики” [8, с. 18]. Абаев при этом признает, что “основоположники” бывали неаккуратны в обращении с фактами и ино-

гда даже вопиюще им противоречили, а младограмматики могли их в этом поправлять.

Это взгляд извне. А вот взгляд изнутри. Не самый консервативный среди русских языковедов позитивистского типа А.И. Томсон писал Б.М. Ляпунову уже в 1928 г.: “Об общих вопросах имеет право рассуждать только тот, кто сам годами барахтался в разрешении частных вопросов и потому может говорить по опыту, не с чужих слов” (цит. по [9, с. 153]).

Безусловно престижным стало “барахтаться в частных вопросах”, именно это стало считаться основой науки. К этому в гуманитарных науках добавлялся принцип историзма, господствовавший и раньше. Считалось, что истинно научное исследование обязательно должно быть историческим, а изучение современного положения стран Востока или новых языков может быть лишь “описательным”. И в языкознании, и в востоковедении сочетание этих двух принципов привело к гипертрофированному господству филологии, извлекавшей информацию из древних письменных текстов.

Университетское языкознание и литературоведение в те годы обязательно основывалось на самостоятельном филологическом анализе памятников. К деятельности такого филолога применимы слова Маяковского о поэзии: “Та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды”. Интерпретация добычи либо занимала второстепенное место, либо вообще считалась чем-то не очень научным. Позитивизм достигал у этих ученых максимальных размеров.

По воспоминаниям Ю.Н. Тынянова, один из академиков-филологов в 1910-е гг. (скорее всего, В.Н. Перетц) называл всех, кто занимается литературой от XVIII в. и позже, “тру-ля-ля”. Здесь этап “добычи радия” занимал немного времени или не требовался вообще, поэтому занятия близкими по времени сюжетами казались традиционным филологам чем-то “легковесным” и не требующим профессионализма; для Тынянова и его друзей, создавших ОПОЯЗ (среди них были и лингвисты, и литературоведы), позиция “стариков” уже казалась прошлым науки. В области древнерусской литературы или истории русского языка первичный филологический этап исследований, этап предложения конъектур, восстановления протографа, исправления ошибок писцов и т.д. занимал столь много времени, что люди, проделавшие этот этап, просто не понимали значимости изучения, скажем, поэтики этой литературы: это для них могло быть только “тру-ля-ля”. И собственно литературоведческое, а не филологическое изучение древнерусской литературы началось лишь в середине XX в. с работ Д.С. Лихачева.

В востоковедении также наступило господство филологии. Ученые сузили как количество одновременно изучаемых стран и языков (после В.П. Васильева и И.П. Минаева уже никто не мог изучать и Китай, и Индию), так и проблематику. Показательно, что в этот период, в отличие от предыдущего, русские востоковеды почти перестали ездить в изучаемые страны, а если кто-то, как молодой Н.Я. Марр, ездил, то в поисках рукописей. Современность совсем ушла из активного обихода. Типичная фигура данного периода, например, арабист Н.А. Медников, о котором его ученик И.Ю. Крачковский писал: “Мы видим образцовый, почти безукоризненный перевод арабских текстов, острый и детальный анализ отдельных авторов, особенно в выяснении вопроса об их взаимоотношениях, сопоставление их показаний в виде таблиц, немало помогающих наглядности вывода. Наряду с таким тонким анализом мы находим и сознательный отказ от каких бы то ни было обобщений или широких выводов, на которые автор не считает себя уполномоченным самим состоянием материала и его разработки” [3, с. 198]. В главном своем труде “Палестина” Медников сначала хотел дать обзор источников, их переводы и исторический очерк, но потом решил ограничиться первыми двумя задачами [3, с. 199]. Другой видный востоковед тех лет гебраист П.К. Коковцов “всегда старался исходить только из первоисточника” [3, с. 524]. Поскольку расширившийся к тому времени объем знаний уже не позволял владеть “первоисточником” на нескольких языках, то такое ограничение могло вести только к отказу от любых обобщений и от сопоставительных исследований.

Разумеется, для ученых, склонных к “подготовке фактического материала” и к “добыче радия”, такая обстановка была очень благоприятна. Их уникальные знания (и славистика, и востоковедение тогда были “штучными науками”), работоспособность при небольшой по объему научной отдаче (ведущие российские востоковеды тех лет не писали или редко писали книги, удовлетворяясь немногочисленными статьями и докладами) вызывали к ним почтение. Как пишет, явно этому сочувствуя, современный петербургский автор, “в те годы востоковеды работали не спеша, материал для небольшой статьи иногда обрабатывали и обдумывали по нескольку лет. Зато и результаты впечатляли” [10, с. 237–238]. А ученым, склонным к обобщениям, бывало труднее. Их принимали в научном сообществе, когда они демонстрировали свое умение работать в господствующей парадигме. Но их уход в теорию и суждения “с чужих слов” не приветствовались.

В лингвистике наиболее ярким примером ученого, шедшего наперекор сложившейся традиции, был И.А. Бодуэн де Куртенэ, человек исключительно широких интересов (от причин язы-

ковых изменений до “блатной музыки” как примера сознательного создания языка), теоретик высокого класса. В Петербургском университете в начале XX в. он создал школу, состоявшую из ученых того же склада. Но филологам его подходы не были близки; из-за этого (а также из-за левых политических взглядов) крупнейший тогда в России теоретик языка так и не стал академиком.

В востоковедении стремиться к обобщениям было еще труднее. Подтверждение этому – противоречивая судьба самого теоретического из русских востоковедов того времени – Н.Я. Марра. Он умел работать так, как было тогда положено востоковеду, и выдвинулся находками и публикациями древнегрузинских и древнеармянских памятников (а также ценными по результатам археологическими раскопками). Но его влекли тайны мировой истории и общие закономерности развития человеческого языка (темы, табуированные в позитивистской науке). О характере Марра лучше всего сказал его близкий ученик В.И. Абаев: у Марра “синтез решительно преобладал над анализом, обобщения над фактами” [8, с. 97]; при активности “творческого центра”, “в котором рождаются идеи”, у Марра был ослаблен “центр торможения”, “в котором эти идеи подвергаются строгой критической проверке, контролю, селекции” [8, с. 98]. Кстати, можно у него найти некоторое сходство с О.И. Сенковским, В.П. Васильевым и другими учеными раннего периода, но обстановка и уровень знаний к тому времени изменились.

Если бы Марр попал в среду близких ему по складу ученых, то, может быть, эти недостатки как-то бы нейтрализовались. Но петербургские востоковеды конца XIX–начала XX в., с одной стороны, не интересовались теоретическими проблемами, волновавшими Марра, с другой стороны, не считали себя вправе критиковать его построения, поскольку он оперировал материалом кавказских языков, а что-либо писать по “чужим” языкам и культурам правила их поведения запрещали. Все это усугубляло ситуацию. Как пишет В.И. Абаев, «грузинский язык, армяно-грузинская филология, яфетическое языкознание, учение о языке “в мировом масштабе” – таковы основные этапы этой неудержимой научной экспансии» [8, с. 88]. На каждом следующем этапе компетентность ученого резко уменьшалась, а аппетиты росли, и все более Марр уходил в дебри фантазий (подробнее см. нашу книгу [11]).

Новый виток развития науки стал обозначаться в России (как и на Западе) во втором десятилетии XX в., окончательно выявившись в нашей стране после Октября, когда к научным изменениям добавились общественные. Новые тенденции обозначились сразу в двух отношениях. Во-

первых, стало отменяться требование обязательного историзма, и наметился интерес к современности. Во-вторых, резко возросло стремление строить теории или переносить в одну область науки теории, выработанные для иных целей. В лингвистике манифестом нового этапа стал “Курс общей лингвистики” Ф. де Соссюра (появился в 1916), в литературоведении в России сложилась формальная школа (большинство представителей которой были в той или иной степени учениками И.А. Бодуэна де Куртенэ). В русском востоковедении уже после Русско-японской войны наметился интерес к современности и к нетрадиционным темам, вроде народной культуры. А среди популярных теорий, распространявшихся в России, а затем и в СССР в разных науках, можно назвать и концепцию О. Шпенглера, и фрейдизм, и, разумеется, марксизм, тогда, безусловно, интересовавший многих. Среди ученых нового поколения и нового склада отметим и востоковеда Н.И. Конрада, сразу обратившегося к современной японской культуре, и начинавшего с японистики ученика И.А. Бодуэна де Куртенэ Е.Д. Поливанова, и Н.С. Трубецкого, чьи идеи, включая евразийские, сформировались, как показывает его переписка [12, р. 18], еще до его эмиграции.

В наше время ученые, склонные к фактографии, иногда доказывают, что старые добрые позитивистские исследования в России прекратились лишь под давлением извне. Археолог А.А. Формозов писал в 90-е гг.: “Я был воспитан в уважении к традициям русской науки конца XIX–начала XX в., позитивистской по духу. Я убежден, что эти традиции были порваны и растоптаны после революции” [13, с. 226]. Однако для отказа от этих традиций имелись не только внешние, но и внутренние причины; отходить от них стали и на Западе (в языкознании более явно, чем в европейском востоковедении, где груз прошлого оказался существенным).

В нашей стране, разумеется, после 1917 г. эти процессы значительно ускорились. В Советском Союзе 20-х гг. не только старая социальная система, но и вся старая культура была дискредитирована; хотелось создать новую культуру и новую науку, не опирающуюся на старые образцы. Многих тогда увлекала идея создания марксистской науки. Но под марксизмом в гуманитарных науках, особенно тех, которыми его основоположники специально не занимались, могли пониматься весьма разные идеи. Скажем, в языкознании мало похожи марризм, идеи Е.Д. Поливанова, сохранявшего традиции бодуэновской школы, и концепция книги В.Н. Волошинова (иногда приписываемой М.М. Бахтину) “Марксизм и философия языка”. Впрочем, в одном у них было нечто общее: они стремились построить теорию при сравнительно малом (в разной степени) интересе к фактам. Это объединяло все попытки построения

новой науки о языке даже в большей мере, чем стремление к анализу современности: Н.Я. Марр, наоборот, и в это время постоянно обращался к “доистории”. Все эти новые концепции объединялись и решительным неприятием старой позитивистской науки с филологическим уклоном (Поливанов призывал не ограничиваться ею, а Марр и Волошинов отказывали ей в праве на существование).

Конечно, нельзя отождествлять научные и политические позиции ученых того времени. Достаточно назвать такого научного новатора и во многом революционера, как Н.С. Трубецкой, который не принял новый строй и эмигрировал. Но корреляции были. Научные новаторы и молодежь, восприимчивая к новым идеям, чаще принимали новый строй, дававший им возможность выдвинуться и распространявший идеи, созвучные их поискам. А из сложившихся ученых старшего поколения на “новые рельсы” перешли немногие, и самой заметной фигурой стал давно вышедший за пределы старой парадигмы Н.Я. Марр, единственный член Императорской академии наук, в конце концов вступивший в партию большевиков. Языковеды же старой научной парадигмы почти всегда оставались на старых позициях и в отношении к политическим событиям в России, а затем СССР (хотя лишь немногие из них эмигрировали). Но так же они не принимали и новые научные подходы, причем по нескольким причинам. Им не по душе были и отход от углубленного изучения древних памятников в сторону сюжетов, которые один из них назвал “Тру-ля-ля”, и склонность к обобщениям без подтверждения положений самостоятельно собранными эмпирическими фактами. Богатый материал о взглядах и настроениях таких ученых содержит книга М.А. Робинсона [9], вводящая в научный оборот их переписку.

В 1926 или 1927 г. в рукописном отделе Исторического музея в Москве академик А.И. Соболевский, увидев совсем молодого коллегу П.С. Кузнецова, приветствовал его «словами: “Хорошими вещами занимаетесь, молодой человек! Желаю вам успеха!”», поскольку “молодежь в то время мало занималась древними рукописями” [14, с. 179]. Но ученые новой парадигмы, если и интересовались рукописями, то не как объектом исследования, как это было для Соболевского, а в качестве источника сведений по исторической фонологии русского языка, их влекла интерпретация, чуждая “старикам”.

Ученые старой школы резко и политически, и научно оценивали Н.Я. Марра. Для А.И. Томсона “большинство сопоставлений Марра” заставляют “только жалеть об исписанной бумаге” [9, с. 169–170]. Столь же неприемлемы были для них идеи лингвистов-новаторов. А.И. Томсон в 1934 г. пи-

сал Б.М. Ляпунову про Н.С. Трубецкого и польского ученого В. Дорошевского: “Что это все означает? Искание новых путей? Которые, однако, заведомо избегают углубления. По-моему, лишь одно: слабосилие. Не могут больше преодолеть подготовительной работы по изучению накопившихся данных по истории языков, особенно по сравнительному языковедению, и потому вместо углубления пускаются или в историческое фантазерство – маразм (видимо, намек на марристов. – В.А.), или в игру – рассуждения без истории, классификации и пр. ... Очевидно, силы истощены. Вместо изучения реальных фактов – высокопарное беззастенчивое переливание из пустого в порожнее” (цит. по [9, с. 175]).

“Игра”, “переливание из пустого в порожнее” – это то же самое “тру-ля-ля”. А критика научных противников, А.И. Томсон фактически перечисляет принципы, которым он верен: необходимость собственного “изучения накопившихся данных”, длительность “подготовительной работы”, обязательный исторический подход и опора на “сравнительное языковедение” (в этом пункте позитивистские востоковедение и языкознание расходились: востоковеды боялись всяких сравнений, а языковеды активно пользовались сравнительным методом), словом, работа с “накопившимися данными”, но по-старому. А вот для вышеупомянутого В.И. Абаева (ученика Н.Я. Марра, но в 30-е гг. уже шедшего своим путем) “широта и глубина мысли” – как раз то, что Томсону казалось “слабосилием” и “легковесностью”. Зато единственно приемлемый для Томсона научный метод оценивается Абаевым как “бескрылое крохоборство”. По его мнению, адекватное описание фактов не обязательно связано с их более адекватным объяснением, что полностью противоречило самой сути подхода Томсона и его единомышленников.

Кто-то из ученых старой школы, особенно по-моложе, выходил за пределы традиционных исторических сюжетов, как А.М. Селищев, автор известной книги “Язык революционной эпохи” [15] (см. также [16]). Б.М. Ляпунов не одобрял даже это, объяснив выбор темы “практическими соображениями” [9, с. 182]. Но если мы сравним книгу Селищева с публикациями Е.Д. Поливанова в те же годы, то видно различие. Поливанов при небольшом количестве примеров все время обобщает, строит концепции, прогнозирует, а у называвшего себя “летописцем”¹ Селищева – обширный набор очень интересных, но лишь первично обработанных фактов.

¹ Так он назвал себя в дарственной надписи на своей книге, подаренной тюркологу В.А. Гордлевскому (хранится в мемориальном кабинете Гордлевского в Институте востоковедения РАН).

Судьба филологов и языковедов (как и востоковедов) дореволюционной формации была невелика. Некоторые из них были расстреляны, как Г.А. Ильинский, умерли в ссылке, как В.Н. Петрец, провели несколько лет в заключении, как А.М. Селищев. Но и те из них, кто избежал ареста (А.И. Соболевский, А.И. Томсон, Б.М. Ляпунов и др.), испытывали трудности с публикацией своих трудов, с возможностью передавать свои знания и постоянно ощущали неуважение окружающих к их деятельности. Для людей, чувствовавших престижность своего дела до 1917 г., часто еще вполне работоспособных, это было тяжело. Эти люди, как тогда казалось, пережили свое время.

Однако, отказываясь от “бескрылого крохоборства”, “дух времени” мог вести к противоположной крайности полного противоречия фактам, что постоянно происходило у Марра в 1920–30-е годы. Марр, харизматический лидер, по складу характера более пророк, чем академический ученый, легко игнорировавший любые факты, если они не укладывались в его концепции, оказался идеальной личностью для роли создателя “авангардистской науки”. В “новом учении” были многие черты, созвучные конъюнктуре 1920-х годов. Это и резкая критика “буржуазной” науки, привлекавшая не только коммунистов, но и не удовлетворенных “бескрылым крохоборством” позитивизма ученых, и рассмотрение всех явлений “в мировом масштабе” – вне национальных рамок, и сочувствие к культурам “угнетенных народов”, и борьба с европоцентризмом, и постановка вопроса о языке коммунистического будущего, и многое другое.

Похожие процессы шли и в востоковедении. При численном преобладании в 1920-е гг. позитивистов старого типа там появляются новые люди, не просто иной школы, а иной культуры и иного склада характера. Они приходили в науку из революционной деятельности, не имея, как правило, высшего образования (уже в советское время они получали дипломы учебных заведений типа Института красной профессуры) и не владея восточными, а иногда и западными языками. Зато они были преданы марксизму (который, однако, могли понимать по-разному) и имели склонность обобщать. Типичные фигуры для “нового” востоковедения 1920–30-х гг. – М.П. Вельтман-Павлович, Г.Н. Войтинский, П.А. Миф, Л.И. Мадьяр. К их числу принадлежали близкие им по духу, но более образованные И.М. Рейснер, А.А. Губер, Е.М. Жуков и др. В чем-то все они напоминали востоковедов “героического” периода XIX в., тем более что, с их точки зрения, они также должны были все начинать сначала. Отчасти они даже были правы, поскольку их интересовала современная проблематика, которую игнорировало классическое востоковедение, и изучение которой надо было вести самостоятельно. Но тради-

ции классиков науки о Востоке просто ими отбрасывались. А если кто-то из тогдашней молодежи и обращался к более традиционным сюжетам, то здесь “новой наукой” считались идеи Н.Я. Марра, тогда влиятельные и в востоковедении.

В “героический” период востоковеды любили рассуждать о происхождении тех или иных народов, об их психическом складе и “духе”. Теперь же речь шла об особенностях формаций на Востоке, о признании или непризнании азиатского способа производства, о причинах современного отставания Востока, о перспективах революций в тех или иных азиатских странах и др. Везде господствовал социологизм. В 30-е гг. в связи с общим изменением ситуации в стране дискуссии стали затихать, усилился догматизм, например, альтернативные теории формаций сменились универсальной “пятичленкой”, но продолжалось развитие тех или иных схем и их применение ко всё новому материалу.

“Дух эпохи” при всей их пристрастности передают мемуары. Об обстановке в советском востоковедении 1930–60-х гг. писала, например, недавно скончавшаяся К.А. Антонова, начинавшая деятельность как востоковед-марксист в рамках описываемых здесь подходов, но позднее оценивавшая их резко критически. Вот, например, рассказ об обсуждении книги Н.А. Смирнова “Россия и Турция в XVI–XVII вв.” (1948): «Оратор указал на многочисленные ошибки, допущенные Смирновым: решающая битва была не там-то, а в другом месте, полководцами были не те лица, которые упомянуты Смирновым, а другие, мирный договор был заключен не в том году, а в ином и т.п. Смирнов слушал, слушал, а потом спросил: “Это все фактические ошибки, а не политические?” – “Да, фактические”, – ответил выступавший. “Ха!” – выдохнул Смирнов и презрительно махнул рукой, какие, мол, пустяки!» [17, с. 144]. И нельзя подобную точку зрения объяснять только страхом возможных последствий за “политические ошибки”: в то время, бывало, страдали и за фактические. Но верность фактам, разумеется, не считавшаяся сама по себе пороком, не казалась чем-то так уже важным. Гораздо большим грехом казались не только “политические ошибки” (которые нередко обе спорившие стороны находили у своих оппонентов), но и “мелкотемье”. Мне уже в 50-е гг. пришлось видеть, как два историка-марксиста потешались над статьей какого-то дореволюционного автора “Петух на крыше готического собора” (речь шла не об одном соборе, а об истории таких петухов): сама тема казалась комической из-за своей узости.

Нельзя, однако, считать, что “проблемность” была свойственна лишь ученым чисто советского типа. Вот, например, академик Н.И. Конрад, который в конце жизни, в 60-е гг., нередко воспри-

нимался гуманитариями новых поколений как олицетворение классической дореволюционной науки. Но, не походя на многих своих современников культурой, знаниями и опорой на традиции, он значительно отличался и от классиков востоковедения конца XIX–начала XX в. За долгую жизнь он, например, не опубликовал ни одной рукописи, а если обращался к древним японским и китайским памятникам, то использовал их современные комментированные издания. Многие его работы посвящены современности, но и там, где речь шла о былых эпохах, он постоянно проводил параллели с современностью или совсем недавним прошлым. В одной из ранних работ 1921 г., посвященной японскому памятнику XIII в. “Записки из кельи” [18], он писал о “мрачных и величественно-ужасных временах японской истории” и о таких же временах современной ему России, а под конец жизни написал статью о великом китайском поэте VIII в. Ду Фу в виде “письма из страны строящегося коммунизма... человеку из феодальной тогда страны”. Испытав в ранний период деятельности влияние О. Шпенглера, а затем освоив марксизм, Конрад постоянно строил общие концепции, сначала для Японии и Китая, в частности, концепцию японского феодализма, а затем на все более широком материале. Конрад был последним у нас востоковедом, профессионально занимавшимся одновременно Китаем и Японией, но он с 30-х гг. снял для себя табу позитивизма не писать ни о чем “с чужих слов” и начал сопоставлять самые разные страны и культуры, в том числе те, языками которых он не владел. В разные годы он то сопоставлял китайского историка Сыма Цяня с греческим историком Полибием [19], то строил сопоставительную типологию жанров в средневековых литературах Запада и Дальнего Востока [20], то, наконец, предложил и развивал во многих публикациях 50–60-х гг. широкую концепцию “восточного Ренессанса”, связав между собой явления литературы Китая VII–VIII вв., Ирана и Средней Азии X–XIII вв. и Европы XIII–XVI вв.

Разумеется, и в 20–30-е гг., а иногда и позже продолжали работать востоковеды классического периода, традиции которых продолжали и их ученики, особенно в Ленинграде. Они видели фактические ошибки, пробелы в образовании, иногда доходившие до невежества, в сочетании с амбициозностью у востоковедов нового типа, а то новое, что те приносили в науку, считали конъюнктурой, не достойной изучения (ср. неприятие Ляпуновым книги Селищева). По свидетельству К.А. Антоновой, “Федор Ипполитович Щербатской, санскритолог и всемирно известный исследователь буддийской философии, презирал молодого Алексея Петровича Баранникова, считая, что тот только по неспособности и бездарности стал заниматься не единственным языком индий-

ской культуры – санскритом, а каким-то варварским современным диалектом – хиндустани” [21, с. 131]. Безусловно, тип ученого, склонившегося над еле читаемой старинной рукописью, терял в то время престиж и в языкознании, и в востоковедении сразу по внешним и внутренним причинам. Методы борьбы, применявшиеся “теоретиками” в борьбе с “фактографами”, бывали непозволительно грубыми, но время тогда способствовало уклону в теорию.

Шли годы. Конфликт ученого-фактографа и ученого-теоретика в чем-то стал сглаживаться. В языкознании определенную роль здесь сыграло выступление И.В. Сталина в 1950 г., развенчавшее более не соответствовавшее конъюнктуре учение Марра и реабилитировавшее русскую дореволюционную науку о языке, прежде всего, позитивистскую. «Материализмом в языкознании было объявлено то, что раньше называли “буржуазной наукой”» [22, с. 20]. После этого уход в историческое изучение языков уже не считался пороком. Но со второй половины 50-х гг. опять начался период активного выдвижения новых лингвистических теорий, связанный со ставшими в это время проникать к нам западными идеями структурализма, а позднее генеративизма. И в лингвистике, пожалуй, особенно явно обозначилось явление, прямо противоположное тому, что наблюдалось в 20–30-е годы. Тогда уклон в “подготовку фактического материала” мог восприниматься одними как контрреволюционность, другими как отстаивание науки во тьме варварства; склонность же к рассмотрению “фундаментальных вопросов” естественно сопрягалась с революционностью и с поддержкой нового строя. А с 60-х гг. лингвисты теоретического склада часто были оппозиционны к официальной науке, а многие из них доходили и до политической оппозиционности (что кончилось для одних эмиграцией, для других участием в конце 80-х гг. в демократическом движении). А языковеды, считавшиеся официозными, склонялись к анализу отдельных фактов и уже не боролись с “мелкотемьем”.

Вот один из официальных лидеров советского языкознания тех лет (директор Института языкознания, затем Института русского языка) Федот Петрович Филин, крайне нелюбимый при жизни и после смерти учеными противоположного лагеря. Если отвлечься от общих фраз с апелляциями к марксизму, то остаются типичные идеи фактографа-позитивиста: “Какие бы новые принципы составления словарей ни выдвигались, словари всегда будут собранием отдельных слов и ничем другим” [23, с. 7]; “Появилась странная разновидность языковедов, о которых нельзя сказать, какой или какие языки являются их специальностью” [24, с. 76]. Все это в сочетании с пониманием Филиным языкознания как исторической

науки не так уж отличалось от того, что было принято в конце XIX–начале XX вв.

Вместе с тем, помимо завуалированного марксистскими фразами возвращения к фактографии существовала и непрерывная традиция заниматься только ею, весь советский период заметная у гуманитариев разных специальностей в Ленинграде. Этот город был главным центром русской науки до революции, традиции там были сильнее, чем где бы то ни было, а марксистская наука и изучение современности чаще имели своей базой Москву (хотя, например, центр марризма находился в Ленинграде). Традиция заниматься конкретными фактами, ценить знание языков, особенно древних, и источников и не строить общие концепции, не основанные на “первоисточниках”, там никогда не умирала и существует поныне. Для той части ленинградских ученых, которая недолюбливала советскую власть, рассмотрение общих вопросов могло ассоциироваться с этой властью не только в 20-е, но даже в 70–80-е гг. В Москве все-таки таких ассоциаций было намного меньше. Но и в сфере чистой науки различие между городами и традициями в них чувствовалось. Вспоминается, как в 1977 г. на I Международном симпозиуме по восточным языкам востоковедов социалистических стран в Москве выступал крупнейший ленинградский тюрколог академик А.Н. Кононов. Он наполовину в шутку, наполовину всерьез сказал, что каждый тюрколог должен за свою жизнь издать и прокомментировать хотя бы один памятник, тогда он получит отпущение грехов и может заниматься другими сюжетами. Московский ученый вряд ли бы сказал такое. Отметим и то, что Н.И. Конрад (начинавший в Ленинграде, а со времен войны живший в Москве) был очень популярен в конце жизни и после смерти в столице, ленинградцы же часто отзывались о нем критически (как и некоторые современные петербуржцы): он мог восприниматься как “перебежчик”, в том числе и идейный.

Этот конфликт двух столиц и двух взглядов на науку в советское время, разумеется, не мог выражаться открыто. В наши дни иногда он выплескивается наружу. Можно видеть и требования вернуться назад, к позитивизму. Мы уже цитировали А.А. Формозова, который, оплакивая “растоптанные” традиции, считал, что “они заслуживают возрождения и развития” [13, с. 226]. Сходна и точка зрения историка славянской филологии М.А. Робинсона, чью книгу мы цитировали выше: он вполне солидарен не только с политическими, но и с научными высказываниями своих “героев”.

Некоторая доля истины в “похвале фактографии” есть. В последний раз обратимся к мемуарам К.А. Антоновой. Она пишет о старшем кол-

леге и во многом учителе И.М. Рейснере, основателе марксистского изучения истории Индии и Афганистана, ярко выраженном теоретике по своему складу. Безусловно, он был одним из самых образованных и талантливых людей в своей когорте, его идеи пользовались популярностью и повлияли на многих советских востоковедов. В воспоминаниях его ученицы, безусловно, присутствует уважение к этой яркой личности. Но Антонова пишет, что после смерти Рейснера в 1958 г. “хотели выпустить сборник его статей, но даже его сын Лева, тоже индолог, не смог выбрать ничего, что представляло бы интерес сегодня... Риторика Игоря поблекла, краски осыпались, метод исследования обветшал. Сейчас трудно понять, чем Игорь так привлекал сердца его учеников” [25, с. 115]. А далеко заходившие теории Н.И. Конрада, в частности, “восточный Ренессанс”, давно никем не разрабатываются. Сохраняется память о яркой личности академика, в историю отечественного востоковедения он вошел как создатель школы, в третьем и четвертом поколениях существующей и сейчас, но работами его пользуются меньше, чем когда-то. В лингвистике не происходило столь масштабной переоценки ценностей, за исключением полного отвержения марризма после 1950 г. Но и структурализм, в 20–50-е гг., безусловно, самое передовое течение в науке о языке, сейчас во многом стал прошлым науки. Характерна появившаяся десять лет назад в журнале “Вопросы языкознания” совместная статья российского и зарубежного ученого под названием “Расставаясь со структурализмом” [26].

Зато факты долговечнее интерпретаций, а ученые-позитивисты умели их собирать, недаром их труды используются и сейчас. Теперь же некоторые ученые просто устали от теорий, а советский период, многими интеллигентами по-прежнему оцениваемый негативно, ныне нередко ассоциируется с теоретизированием (хотя в последние его десятилетия ситуация, как мы упоминали выше, стала сложнее). Но наука не может просто возвратиться в прошлое, отринув десятилетия работы. Даже требование Сталина вернуться к до-революционной науке не могло быть в полной мере реализовано. Отметим еще одну сторону вопроса (не учтенную А.А. Формозовым). В отличие от других философских течений позитивизм обладает способностью стихийно возрождаться тогда, когда ученые ограничивают свои задачи накоплением фактов, а в археологии, как и в лингвистике и востоковедении, накопление не могло прекратиться и в советское время.

Но как бы ни менялись теории, они в большинстве своем приближают нас к истине, пусть не полностью и с разных сторон (хотя бывают и тупиковые направления, вроде марризма). А сбором и первичной обработкой фактов наука не в

состоянии ограничиться: она неизбежно опирается на некоторую теорию, пусть это не всегда осознает исследователь. Бывают периоды, когда наука временно сосредоточена на конкретном фактическом материале и на шлифовке методов его получения. Но неизменно наступают времена кризиса и перелома, когда необходим прорыв в теории, нередко приобретающий характер научной революции, когда не всегда нужно искать новые факты, достаточно по-новому интерпретировать то, что известно. Словом, на первый план в развитии науки выходит то описание, то объяснение. Между тем, одни ученые по складу характера любят одно, другие – другое. И споры теоретиков и фактографов вечны. В таких спорах может родиться истина, нельзя только считать собственные склонности и привычные традиции чем-то незыблемым и единственно верным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алпатов В.М. Периодизация отечественного востоковедения // Восток. 1994. № 1.
2. Каверин В. Барон Брамбеус. М., 1966.
3. Крачковский И.Ю. Сочинения, т. 5. М.; Л., 1958.
4. Бартольд В.В. Сочинения. Т. 9. М., 1977.
5. Ольденбург С.Ф. Валентин Алексеевич Жуковский // Известия Российской Академии наук. Серия 6. Т. 12. Пг., 1918.
6. Общее языкознание. Лекции, читанные проф. Минаевым студентам Петербургского университета в 1883/84 году. Литографированное издание. СПб., б.г.
7. Волошинов В. Философия и социология гуманитарных наук. СПб., 1995.
8. Абаев В.И. Статьи по теории и истории языкознания. М., 2006.
9. Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: Отечественное славяноведение (1917–начало 1930-х годов). М., 2004.
10. Васильков Я.В. Только об одном востоковеде (гебраист Михаил Николаевич Соколов, 1890–1937) // In memoriam. Исторический сборник памяти Ф.Ф. Перченка. М.; СПб., 1995.
11. Алпатов В.М. История одного мифа. М., 1991. 2-е изд. М., 2004.
12. Letters and Other Materials from the Moscow and Prague Linguistic Circles, 1912–1945. Ed. by J. Toman. Ann Arbor, 1994.
13. Формозов А.А. О книге Л.С. Клейна “Феномен советской археологии” и о самом феномене // Российская археология. 1995. № 3.
14. Воспоминания П.С. Кузнецова // Московский лингвистический журнал. № 7/1. М., 2003.
15. Селищев А.М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926). М., 1928.
16. Селищев А.М. Труды по русскому языку. Т. 1. Язык и общество. М., 2003.
17. Антонова К.А. Мы, востоковеды... // Восток. 1991. № 1.
18. Конрад Н.И. Из японской литературы начала XIII века. Камо-но тэмэй. “Записки из кельи” // Записки Орловского университета. Серия общественных наук. Орел, 1921.
19. Конрад Н.И. Полибий и Сыма Цянь // Вестник древней истории. 1965. № 4.
20. Конрад Н.И. Предисловие // Восток. Сб.1. Литература Китая и Японии. М., 1935.
21. Антонова К.А. Мы, востоковеды... // Восток. 1991. № 5.
22. Звегинцев В.А. Что происходило в советской науке о языке? // Вестник АН СССР. 1989. № 2.
23. Филин Ф.П. Теоретические проблемы языкознания // Вестник АН СССР. 1970. № 7.
24. Филин Ф.П. Очерки по теории языкознания. М., 1982.
25. Антонова К.А. Мы, востоковеды... // Восток, 1991, № 3.
26. Живов В.М., Тимберлейк А. Расставаясь со структурализмом // Вопросы языкознания. 1997. № 3.